

НОВАЯ ПРОЗА

# ПТИЧИЙ ГРИПП

---

Сергей Шаргунов



издательский дом

Выбор Сенчина

# Сергей Шаргунов

## Птичий грипп

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=33168567](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=33168567)*

*ISBN 9785449072771*

### Аннотация

Когда «Птичий грипп» Сергея Шаргунова увидел свет, в 2007 году, многие восприняли его как сатиру на молодежные политические движения и организации. Действительно, в книге немало иронии, а то и сарказма. Но спустя десять лет «Птичий грипп» читается с некоторой ностальгией – да, те движения были достойны сатирического прищуря, но они были, молодежь двигалась, чего-то пыталась добиться. Сегодня же – тишь и покой. Какой-то мертвый покой. И теперь роман Шаргунова стал воспоминанием о жизни.

# Содержание

Вместо предисловия	5
Оттепель	6
Черный ворон	19
Пингвин дома	39
Голубой попугай	46
Конец ознакомительного фрагмента.	63

# **Птичий грипп**

**Сергей Шаргунов**

© Сергей Шаргунов, 2018

ISBN 978-5-4490-7277-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Вместо предисловия

Эта книга – давний горький юношеский памфлет, документ времени, трагикомический репортаж о бытовании молодежных стай середины нулевых годов.

Здесь сплошной экстрим, и чем гротескней, тем реалистичней: остервенелы все – и сотрясатели трона, и его оберегатели.

Страсти и противоречия жестоко разрешаются не только в книге, но и в жизни. Текст во многом пророческий и не только потому, что буквально сбылись какие-то сюжеты, но и в главном – скажу не без некоторого пафоса – в передаче симптоматики социального недуга.

Такая симптоматика наблюдалась, к примеру, и в конце 19-го – начале 20-го века, и известно, чем дело кончилось.

Когда роман писался в 2006-м, очень многие «переломы судеб» – от раскроенного черепа журналиста Олега Кашина до дела Удальцова-Развозжаева – были только в будущем... Поэтому лично мне перечитывать эту книгу не смешно, а страшновато.

Всё повторяется, всё продолжается, всё впереди.

*С.Ш.*

*Февраль 2018*

# Оттепель

– Тебе плохо? – крикнуло окно материнским голосом.

Степан лежал среди талого снега на тротуаре Остоженки.

Мимо ползла полуденная пробка.

Он не был мертв и не бился в припадке. Отдыхал. Мирно полеживал в сером холодном месиве. Изучая небо.

– Страсти! – выдохнула тетка, плывшая уверенно, но и словно марево, с гвоздичками в фольге.

Затем перемещалась компания школьников: вертелись, болтали, жевали, взрыв хохота, и еще долго хохотали, оборачиваясь и показывая телу гадкие знаки.

Люди выходили из аптеки, возле которой лежало тело, кто-то ругался, кто-то спешил покинуть место, кто-то, видя, не видел...

Некоторые водилы приветственно бибикали.

Тощий таджик в оранжевом жилете чистил тротуар. Подошел и заносчиво позвал:

– Ты че, грязью лечишься?

Степан взмахнул рукавами пальто и опустил их обратно в грязь. Он лежал в пестрых бликах солнца. Под распахнутым пальто виднелась водолазка. На водолазке, когда-то белой, чернели броско разводы, шоколадная клякса жирнела на переносице. Уборщик тронул голову лежащего сталью лопаты.

К сценке приплюсовалась ветхо одетая старушонка:

– А милиция где? А наше дело телячье... Обоссался – обтекай...

Она засмеялась звонко.

Чумазый юноша валялся среди мутного водянистого города. Небо таяло, было ярко, катило голубые волны. В небе птицы купались размашисто.

Рекордно ранняя весна. И мы не держим зла, Поскольку прошлому хана Воистину пришла!

Юноша придумал такое стихотворение, пока лежал.

Щеки его недужно розовели, глаза сощурил жар.

– Упал? – закричал на другом конце Остоженки мужик, припарковавший «хаммер» и почему-то не переходивший улицу. – Куда его? Жмурик?

Из арки метнулась фигура в раскрытой лиловой куртке.

– Сте-е-епа-а! – Женщина бросилась через улицу, нагнулась к телу, заслонив небо. Рванула за плечи. – Сынок... У тебя обморок?

Парень хихикнул и вскочил. Женщина отшатнулась, старушка ойкнула, дворник ударил лопатой, поймав ноту асфальта.

Парень пересек дорогу, отекая грязными ручьями. Пронесся в арку, на ходу освободился от пальто, соорудив из него ком, который на бегу прижал к себе.

– Слышь, резкий... – начал мужик у «хаммера».

Беглец исчез в арке.

Он дернул железную дверь подъезда. Поднялся лифтом. Позвонил в квартиру. Он приплясывал отчаянно, словно жаждет в туалет. Отец открыл, а внизу подъезда слышались гулкие материнские раскаты:

– Сте-епа-а!

Он ворвался, прикрываясь грязным комом, и заготовленная пощечина отца растерянно отпала.

Влетел в комнату. Пальто бросил на пол. Схватил мобильник на стеклянном столике. Прижимая трубку к плечу скулой и слушая, как набирается, заперся на два оборота.

– Але. Чего тебе?

Ответил:

– Я УЗНАЛ: ОНИ ГОТОВИЛИ ПЛАН ВОЗМЕЗДИЯ. ЭТО СРОЧНО!

Жили-были птицы. Они не хотели, чтобы их хватали. Разве приятно, когда хватают? Они не хотели, чтобы им резали крылья и вязали лапки. Но хозяин решительно загонял их по курятникам.

Птицы вырывались из опекунских рук, чтобы устремиться к солнцу. И летели к солнцу. Они пылали заразой, мучились, сгорая в тяжелом бреду, взмахивали крыльями из последних силенок. Они делали круг над хозяйским двором и возвращались. Опаленные.

Птицы расставались с жизнями. Но перед смертью им казалось, что, издыхая, они отравляют и губят солнечным кош-

маром всех на свете, весь этот белый свет!

Они рассчитывали – ВСЕХ ЗАРАЗИТЬ!

С детства Степан играл в птиц.

Предпочитал мультики с птицами. Научившись читать, он прочел небесно-закатную книжку про путешествие стаи гусей и мальчика Нильса, а еще молочно-кисельных «Диких лебедей», а до этого мама читала ему лохонувшегося «Гадкого утенка». Птицы мешались в голове. Степа и себя начал почитать за птицу. Он перебирал оперенья и роли. Он был доброй и капризной ласточкой, сорокой-балоболкой, выносливым туповатым альбатросом, вычурным гордецом павлином. А годам к восемнадцати выбрал упитанного настойчивого пингвина. Хотелось быстрее взростеть, быть основательным. К тому же полным телом, полной физиономией, разлапистой походкой и даже любимым прикидом – черным пиджаком с белой водолазкой – Степа напоминал пингвина.

Он часто спрашивал себя: чего хотят эти все птицы, с которыми он общался? Они были гротескны. Птицы вечно гротескны: крикливы, порывисты, в глазах – безумие. Чего добивался он сам? Он был невнятен в своем жертвенном, стихотворном растворении среди общего пожара. Болезненным пингвином он обходил – больные, одна жарче другой – палаты. Бродил по галереям политических птиц. Наблюдал скоротечное развитие их недуга, всматривался в агонию, но при последних минутах издыхания спешно перемещался в сле-

дующий зал. И хихикал, нервно, затаенно хихикал, чувствуя, как все глубже в его нутро проникает смертельный вирус. Языки пламени щекотали изнутри.

Ему было двадцать четыре. Он отучился в РГГУ на социолога. Жил с родителями.

Фамилия у Степана была Неверов.

Степан думал с некоторым бахвальством: каково это, быть активным, совершать хоть и гадкие, но нетривиальные поступки и при внешней затейливости хранить внутреннюю статичность, бесстыже-ровный покой? Про такой покой Степа даже набросал стишок. И выложил у себя в интернет-блоге.

Ему интересны люди, Но, может быть, потому, Что все они – лишь прелюдияК никакому ему. И с каждым он разговорчив, И каждому сателлит, Кто глянет очами в очи – Ресницы ему спалит... Однако под прочной кожей – Прохлада и темнота, И люди, его тревожа, Не выдавят ни черта. По склону слепые сани. По жилам жестокий яд. Поезд – по расписанию. По приказу – снаряд. Пингвин под гипнозом хлада – Все движутся, ищут цель, И, услышав: «Не надо!», Наскакивает кобель... Кто любит табак и вина, Кто воздух и молоко, И все же возьмем пингвина – Таким умирать легко. Нет, сколько бы он ни весил, Пускай он во льдах навек, Он будет фальшиво весел... Таков порой человек. Сograждане, птицы, звериВ отчаянной их борьбе – Сплошное одно преддверье, Горячая дверь к тебе. А за горячей дверцей –

Мир хлада и темноты. И те лишь единоверцы, Кто веры лишен, как ты.

Степа переоделся с дикой скоростью. Брюки и водолазку, пропитавшиеся грязью, сменил на свежие джинсы и рубаху, вместо пальто накинул ветровку. Подошел к зеркалу и вытер лицо старой футболкой с надписью «АВВА». Вынесся из комнаты.

Родители загородили ему дорогу.

– Ты же больной! – Выкрикнула мать.

– На голову... – Проурчал отец.

Он оплатил им деловитой улыбкой, какую дарит пассажирам падающего самолета профессиональный стюард. Они недоуменно обмякли. Сын метнулся к незакрытым дверям.

Он выбежал на набережную и поймал машину. Авто катило по оттепели. Грипп отступал.

В дороге Степа вспомнил две истории. Два предательства. Школьное и студенческое.

В восьмом классе их достала училка по литературе, припадочная. (Вылитая птица-секретарь.) В ней бурлил гормон неадекватности. Над ней глумились. Лидером класса был Кирилл, разбитной неформал, оторвыш-кукушонок.

Кирилл был горазд на злобные выдумки. Он и придумал прикол над птицей-секретарем. Он предложил наглую затею, его поймали на слове, и престиж заставил идти до конца.

Урок начался. Все встали.

– Дымом несет, – поморщилась училка и открыла классный журнал, уткнувшись в него непонимающими очками.

Пробежал смешок.

Кирилл затянулся толстой сигарой и выслал плотное гаванское облачко.

– Чем это пахнет? – Училка крутила стриженной под мальчика головой. – Мне душно! Эй!

Общий сдавленный смешок раскрепощался возле Кирилла, стоявшего за первой партой.

– Это ты, это ты, что ли? Покажи руки!

Лидер, снисходительно пожав плечами, подошел к учительскому столику, нагнулся и метнул тлеющую сигару в пластмассовое ведро.

– Там же бумаги! Сейчас мы все сгорим! Кирилл, унеси в туалет! Пожалуйста!

Не теряя насмешливого достоинства, кукушонок извлек дымное ведерко и на вытянутых руках пронес из класса под общий гогот.

Вернулся с опустошенным ведром, училки не было. Но вот она влетела. Следом вступил их директор, суровый мужчина с тяжелой, малоподвижной физиономией.

– Это правда?

– Признавайся! Ты! Самый смелый! – закричала училка.

Директор рявкнул:

– Здесь больше не учишься! Собирай вещи и марш отсюда!

Кирилл тоскливо побледнел.

– Спасибо, – дрогнувшим голосом сказал он и ушел. Навсегда из этой школы.

Ребята решили отомстить. Утром, приближаясь к школе, они видели своего директора, неизменной сутулой фигурой темневшего в освященном окне на первом этаже. Окно гасло последним.

На переменке заговорщики, трое, собрались у подоконника в коридоре, и у них родился план. Заговорщики – два ближайших друга Кирилла, два его заместителя по классу, а третьим соучастником стал Степан. Его в классе мало любили. Не выскочка и не болтливый. Надежный хорошист. Но ему доверяли. Тем более он их поддержал:

– Мы должны верить в дружбу. Пускай он виноват, пускай нам стремно, но только так мы удержим нашу веру.

В половине третьего они разбрелись из школы, чтобы встретиться, когда стемнеет и погаснет последнее окно.

Но Степан возвратился раньше. Он побродил по району и через двадцать минут после того, как вышел, опять вошел и направился в главный кабинет.

– Что тебе надо? – На него было наставлено неприятное лицо в парчовых складках красноватой кожи.

– Николай Алексеевич... – Степан равнодушно глядел куда-то мимо, на пузырек чернил посреди заваленного бумагами стола, и словно обращался к этому матовому флакончику. – Хотел предупредить...

И Степан с ненормальным, подозрительным спокойствием начал сдавать приятелей.

– Что вы все, с ума посходили? – Обычно неподвижное лицо директора заколебали волны недоверия.

Из дома Степан позвонил одному из заговорщиков:

– Макс, я реально заболел. Грипп. Лоб горит. Мать градусник сунула – тридцать девять и пять. Уложила меня и не пускает. Обидно, что так. Ни пуха, Макс!

...Двое заговорщиков сошлись возле школы, в этот час непривычно затемненной.

– Второе справа.

– Уверен?

– Бей давай!

Мальчишка, залихватски опиравшийся на швабру (нашел ее на помойке), приставил железку к окну. Ударил по стеклу. Раздался звон.

– Сильнее давай! Еще раз! Высаживай!

– Ионов? – скользнул огонек фонарика. – Мельниченко? –

Из-за гаража появилась узнаваемая сутулая фигура.

Швабра стукнула о землю. Они бросились наутек. Завтра их исключили.

Зачем Степан их заложил?

Он просто ненавидел Кирилла, лидера класса, кукушонка.

Он мгновенно возненавидел идею мстить за ненавидимого. Степана тошнило от этого насмешливого зазнайки с нечесаными лохмами. Этот Кирилл вождистски проходил по ко-

ридору среди галдежа перемены, волосы болтались и воняли тухлой рекой. Степана воротило от этого заурядного человека, обладавшего неясными тайнами власти. Этот Кирилл был оптимистичной душой компании, вскоре он перевелся в другую школу, там утратил прежнюю благодать, а впоследствии сгнил где-то в «рыбном институте». И все же он успел побывать богоданным лидером их восьмого «Б» класса!

Почему?

Откуда берутся лидеры?

И вторая история.

На соцфаке Степан сдружился с одноклассником Олегом, похожим на цаплю. Все его называли «Олежей». Олежа был старостой группы и признанным авторитетом, душился дорогим мужским дезодорантом с феромонами, лучше всех успевал по физкультуре, ладно ходил на университетских соревнованиях по лыжам. Зимой он был в белом, всегда чистом кашне. Высокий, задумчиво-элегантный, манил девочек. Но верен был всего одной – Светке, глазастой. Чернобровая и статная, с высокой грудью и пикантной родинкой на ноздре. Сладко-душная.

Как-то Степа с Олежей досрочно сдали сессию и, празднично болтая, вышли из огромной зоны МГУ и напились в кафе «Пузырь» у метро «Университет». У них хрустели деньги по такому поводу. Напились и решили ехать в сауну. Недорогая сауна на Университетском проспекте, давно еще

примеченная через Интернет.

– Как отдыхаем? С девочками? – Бойкая баба-обслуга, окруженная сдобным паром и облаченная в белое, была как повариха.

Она назвала расценки.

– Это нам нипочем! – заржал Олежа.

Девочки приехали так стремительно, будто пришли из соседнего дома. Толстобрюхие, с размазанной косметикой, они пытались затянуть время, и петь караоке в предбаннике. Подпевать надо было группе «На-на» и похабно исполняемой песне «Летят перелетные птицы, а я остаюсь с тобой...» Потом подпевать надо было Игорю Талькову, застреленному перед концертом в 91-м году. Тальков воскресал в народной памяти, тому зарукой были его песни в кабаках и саунах.

Наши социологи выслушали про птиц и, когда начался Тальков, отвергли караоке. Они потянули скользко упиравшихся, но покорных толстушек в комнату отдыха. И там отработали их вздрагивающее продажное желе. Наездники задорно переглядывались, толстушки под ними переглядывались тоже, обреченно и безразлично.

А золотые купола...

– надрывно хрипел Тальков, —

Кому-то черный глаз слепили, И раздражали силы зла, И видно, так их доняла, Что ослепить тебя решили. Россия!

Олежа уехал на каникулы к родителям в Новгород. Светка «черные глаза» осталась одна – скучать. Подружки ее пре-

сытили, и однажды она решила повидаться с другом возлюбленного. Ей хотелось проведать: любит ли ее Олежа, что о ней говорил Олежа, и не надумал ли взять ее в жены.

Она согласилась пить шампанское.

Бокалы шампанского скоро сдетонировали безрассудной похотью. Степан клеил ее, любовался ее глазами-безделушками, как бы даже отдельными от веселого лица. Он гладил ногой ее ногу под столом, а она, вероятно, так захмелела, что воспринимала его ногу как часть своей ноги. Он стал хамски предлагать ей секс. Она косноязычно возражала.

– Я люблю Олежу. Он любит меня. Олежа мне верен... И я ему верна... – резиново тянула Света.

– Ага. Верен! Мы с ним три дня назад девок щупали, – Степан испугался, заметив, что она трезвеет, и трудно хихикнул.

Света была до этого относительно трезва. Она прикидывалась пьяной, чтобы выведать все тайны про любимого. И вот получила...

– Я хочу водки, – потребовала она.

– Дела! – сказал приехавший Олежа. – Че-то Светуля со мной не разговаривает. Я ей письмо писать буду. Бред какой-то, просто бред. Вот ведь бабы! Вроде все круто шло. Обиделась, наверно, что один домой ездил, а ее с собой не взял, родителям не показал. Типа намерения пустые. А какие сейчас намерения? Студенты же!

– Не бери в голову. Не верит, значит. А это плохо. Главное, чтобы вера была. Вон Танька Сатарова с соседнего потока, – мерзко захихикал Степан. – Я бы ей...

– Советуешь с ней?

Олежа – староста группы. Степан их ненавидел, старост ненавидел, ненавидел всех без исключения лидеров молодежи.

В другой, более взрослой жизни, где он выбирал своих ближних, самым ярким из вожаков был Иосиф.

Мы погружаемся в ткани повествования.

Степан постоянно задумывался над идеями тех, с кем он общался. Нацболы, коммунисты, нацики, либералы... В этой книге – все они. Их идеологии смотрелись забавным оперением, но главным был жар. Гриппозный, очистительный. Большое пламя затмевало разнообразие птичьих оперений, тела дышали огнем, и это пламя сбивало их в один страстный, тяжелый и мутный, красно-черный поток...

# Черный ворон

Он часто вспоминал Иосифа и что с тем приключилось.

Иосиф Воронкевич вел НБП – «Ненавижу Большую Политику». (Активисты организации назывались «нацболами» от сленгового американизма «nuts-bolls» – типа «крепкие орешки», они же «парни с яйцами».) Сколько ему лет, мало кто задумывался. Тоскливая алчность глаз, сизые круги под глазами, смуглое лицо, желваки, и бескровные узкие губы.

Вот Иосиф Воронкевич, —

писал Степа, —

За анархию горой,  
Пахнет порохом, картечью,  
И не пахнет он игрой.  
Сочинял когда-то порно,  
Был дешевый журналист,  
Обернулся – ворон черный,  
А душа что белый лист...  
Белый лист сгорит, уронит  
Только пепла черноту,  
И о чем-то по-вороньи  
Горько каркнет на лету...

Это будет верно – сравнить Иосифа с черным вороном. Клюв, круглое око, отрывистое карканье, черная одежда.

Иосиф издавал в Риге порножурнал. И вдруг решил испытать себя в борьбе. Он ехал в Москву, в центр кружка нацболов. Неудачный порнограф, ну что ж, думали оптимисты, будет помогать нам писать воззвания. Или ударится в пьянство, додумывали меньшие оптимисты.

Никто не мог вообразить, что в этом чахоточном эротомане вспыхнет воин. Никто не ожидал, что приедет к ним существо из жил, костей, неразвитых мышц, среди которых выстукивает храброе командирское сердце.

Раньше нацболов вел Василий Ершов. Он имел длинное пальто, клокастую порыжелую бороду, бритую голову. Мужчина из Пушкино, где работал санитаром в больничке. В перестройку подписывался на литературные журналы «Молодая гвардия» и «Наш современник». Жена умерла. Он пришел в кружок молодежи и возглавил. Он, как и Иосиф, курил две дешевые пачки в день. У него, когда он сидел вечером в кругу ребят, были воспоминания, славянские, ясные, про ветерана, отдающего Богу душу на рассвете в спящей палате. Василий был мягким отцом для ребят, но вот приехал из Риги Иосиф, которому подходило библейское слово *жестокословный*...

– Сколько у нас людей? – спрашивал Воронкевич.

– Сто человек в Москве, – отвечал Ершов.

– Надо бить! Больно бить! Нужна новая тактика, – гово-

рил Иосиф.

Первая настоящая акция случилась в Большом театре в час премьеры колоссальной постановки, которая роскошью одеяний, раскатистыми басами и громом музыки символизировала возвращение в монархическую надежную гавань.

Ложи наполнились именитыми гостями, среди прочих по-свойски и деликатно улыбался тогдашний президент, как бы сообщая: я здесь главный, но это ведь такое дежурное дело быть главным, полно вам, оставьте почести... Занавес дрогнул, поплыла музыка, артист, игравший монарха, последний раз огладил драгоценную, колючую от стекляшек шапку, и вдруг...

На сцену с гиком ринулся отряд из зала! Вспыхнули факелы. Полетели листовки. Президент кокетливо отводил глаза, устало смеживал веки, морщил ноздрю. Ребят пинали, валили на пол, волочили по проходам. И хотя под деревянный стук, ропот публики, вскрики добываемых президент набросил на лицо вуаль должностной скуки, жилка у его виска билась лихорадочно.

Голубая и злая!

Ребят лупили на допросах. На следующее утро Иосифа, выносившего ведро в мусоропровод, схватили на лестничной площадке. Ему драли волосы, душили ремнем от его же брюк, выбили клык.

Тем утром студент художественного училища, под побоями написавший на Иосифа показание, прыгнул из окна.

Оставил записку: «Все отдаю партии» и нырнул. Но этот юноша не погиб, а, зацепившись за ветки дерева, повисел так немного под перебранку ворон-москвичек, свалился на снег и получил сотрясение мозга.

Иосиф не успокоился. С поредевшим хохолком и погнутым клювом он готовил новые акции.

Они начали шествия. У них чернели флаги. Они шли, не замолкая. Они шагали, топоча. Их стали блокировать, отлавливать на подступах, и, хотя они все же срастались в колонну, их оцеплял ОМОН и так держал под конвоем, ударяя или выхватывая кого-то...

Ершов, борода, голый череп, длиннополое серое пальто, похожее на шинель, выскакивал вперед, широко и бешено разевая пасть:

– Пусть моя кровь будет кровью партии, пусть моя плоть будет плотью...

Колонна повторяла монотонно.

Это была молитва. Утренняя. Черное знамя пропитывалось солнцем, встающим над Москвой. Мороз студил пену на оскаленных зубах. Они шли, зажатые конвоем, подхватывая крик, вскидывая кулаки.

Воронкевич созвал съезд. Был снят кинотеатр, куда поутру, хлюпая талым снежком, потянулись вереницы делегатов в черной коже с черными кожаными рюкзаками.

Иосиф возник на трибуне съезда и бодро, во всю силу легких, каркнул:

– Ура!

И предложил доктрину.

– «Снежинки ртом ловила, очень мило...» – Зал по-датливо смеялся. – Чего это? Снежинки, холод, сырость... Несчастливая любовь, ангина... Зачем это? Зачем нам этот санный путь с однозвучным колокольчиком? Нам нужно четкое позитивное сознание!

В перерыве он вышел на ступеньки кинотеатра, олицетворяя позитив.

Сорокалетний уже мужик с морщинами у глаз, горькой складкой у губ, нервными стреляющими глазами.

Иосиф стоял, черная расстегнутая рубаха, черная распахнутая кожанка. Двумя руками он держал большой кусок черного хлеба с большим бело-розовым ломтем сала. Солнце полыхнуло у него в глазах. Он впился в бутерброд.

Подле Иосифа в этот момент стоял Степан и следил за ним с интересом. К Степе при том настойчиво прижималась журналистка Ирина Бойко, она обслуживала интернет-портал «Скандалы». Эта Ира была громадного роста, с широкой мужицкой спиной, синеглазая. Черные волосы блестели, стянутые на макушке. Губы она красила в кровавый цвет, веки – в голубой. И вот Ира налегая на Степана, вдруг баском стала сочинять ему в самое ухо, будто Иосиф

у нее ночевал, пил с ней водку и свел ее с ума своим допотопным орудием...

Степан не выдержал откровений, повернулся к уплетавшему бутерброд Воронкевичу и спросил:

– Ирина хорошая?

Иосиф покосился на великаншу, качавшуюся в сапожищах. Без стеснения Ира завлекала его мглой ресниц, суровым синим взглядом. Шарами под блузой.

– Очень приятно. Рад знакомству... – интеллигентски скукоживаясь, прошамкал он бутербродом.

И взглянул исподлобья, как еврейский мальчик на казака-наездника, взмахнувшего нагайкой.

Ребята из регионов курили на ступеньках. Резкие, дикие, которые завтра сдохнут, а сегодня хотят алкоголя, порева, жрачки и лютой битвы. Партия дает им энергию, чтобы упорствовать и вырастать в кварталах бедноты.

– Мы ее заманили. Дрюха шило воткнул. Короче, час освеживали. Мясо зажарили.

– Ну и?

– Жесткач. Кошкой воняет. Мочой. А шкуру я затарил...

Обсуждали охоту на лисицу. Говорил скуластый невысокий пацан с прокуренным пороховым лицом и вялыми лепестками рта. Ему внимал тощий длинный весельчак, вдохновенно подпрыгивавший с ноги на ногу, вместо левого глаза у него краснела ямка.

– Степа! – обратился Иосиф ядовитым голосом.

– Да? – Неверов вздрогнул.

– Степа, а что ты делаешь у нас?

– У вас?

– Да, у нас – в НБП.

– Видите ли, – Неверов отвечал медленно: Вы – это партия войны. Вас осмеивают, считают полудурками, не берут в расчет, давят, но вы от этого только сильнее. И побеждаете. В сердцах тех побеждаете, кто не верит ни во что, потому что ждет настоящей веры. Эту веру вы даете. Знаете, почему нацболы мне интересны? Потому что – пообщаюсь, и вера пробуждается!

Воронкевич недоверчиво подмигнул.

Ира выплюнула сигарету. Вдруг она заговорила про то, как недавно ехала на частнике, а тот принял ее за переодетого мужчину.

– Парень, не пидарась! – наставлял ее водила.

– Да девушка я!

– Ты богатырь, а не девушка! Куришь-то зачем? Бросай это дело, милый. Нормальным становись. Косметику сотри, не срамись, – так поучал шофер.

В салоне его консервативно играло радио «Ретро».

Ребята загоготали на эту историю. Захихикал и Степан. Хохотнул Иосиф.

Их борьба продолжалась.

В регионах яйца летели в чиновников, раз за разом

по двое-трое нацболов приковывали себя к дверям важных учреждений. В Москве случилось вовсе ЧП.

Пятнадцать человек (ровно – пятнадцать) пришли к Министерству чрезвычайных ситуаций. Они выглядели как инопланетяне. В старомодных противогазах с хоботками и шуршащих при каждом движении салатовых хламидах.

– Боевая тревога! – мычал пацаненок через маску. – Учения! Эвакуация!

– Санитарная служба! – плаксиво мычала под маской пацанка.

Вахтер ошалело запустил гостей, которые поднялись в кабинет министра чрезвычайных ситуаций. Сотрудники, побросав открытые кабинеты с включенными компьютерами (учения так учения), послушно столпились на улице перед дверями и чего-то ждали, задирая носы к летающим тополиным пушинкам.

Окно босса на втором этаже распахнулось. Не замечая зрителей, увлеченный бесконечным вальсом пушинок к невидимому за пеленой дня мерцанию созвездий, нащупывая глазами где-то совсем высоко нездешнего Хозяина, их босс, господин министр, высунулся по пояс. Его галстук завис.

– Громче! – раздался позади министра окрик.

Мужчина дернулся, точно его укололи в мягкое место, и закричал:

– Газ-нефть! Газ-нефть! Газ-нефть!

Ему шлепнули по затылку, он обернулся, переспросил и исправился:

- Да, смерть! Да, смерть! Да, смерть!
- Мы ненавидим правительство!
- Пытать и вешать! Вешать и пытать!
- Обыватель – козел!

И снова:

- Да, смерть!

Так он вскрикивал эти лозунги, министр с мужественным бойцовским сухофруктом физиономии под седеющим начесом волос. Рот, некогда вальяжный, разевывался широко... Иногда сухофрукт растерянно оборачивался, видимо переспрашивая какой-то особо чудной лозунг.

Но учился быстро, запоминал сразу, способный человек, не зря выбился в министры...

Над его головой мелькнул блестящий предмет.

Люди шарахнулись. Прямо им под ноги со звоном врезалась стеклянная доска. И раскололась. Это был портрет президента.

Иосифа посадили в Лефортово (распознав как вдохновителя). Ребят запихнули в Бутырку. Министр занемог и отъехал в ЦКБ (его начес был совершенно белым).

Перед тюрьмой ребят привезли в милицию. Там с ними говорил фээсбэшник, которого звали Ярослав. Ярик. Раньше он допрашивал в Чечне.

Всякий революционер чувствовал опустошающее бессилие, когда думал про этого Ярика. То был лютый палач наших дней, жил в Москве, кажется в центре, вроде любил гулять по бульварам. Имя «Ярик» ассоциировалось с древней княжеской Русью, с надменным властелином-однодневкой, который скачет по полю, копьем добивая раненых, и холодный туманно-голубой свет плещется в глазницах...

Фээсбэшник бил ребят. Бил одну ночь и день. Бил даже девушек. Одной пацанке сломал ключицу. «Меня били книгами», – сказал адвокату один пацаненок. Его Ярик ударял корешками старых толстых изданий, заваливавшихся в библиотеке милиции. Была твердая, скользкая шафранная обложка «Былого и дум» (острый угол пропорол щеку), а еще бордовый трехтомник советских поэтов-шестидесятников.

Степа, мысленно хихикнув, вспомнил пастернаковское: «О, знал бы я, что так бывает, / Когда пускался на дебют, / Что строчки с кровью убивают...»

Ребятам было не до шуток. Среди бела дня арбатская панкушка с курчавыми темными волосиками и в облупившейся косухе подошла к отделению милиции, засучила кожаный рукав и элементарным движением полоснула себя по запястью. Кровь ее гневно брызнула на порог...

Иосифа доставили в Лефортово.

В одноместную камеру.

На допросы не вызывали.

Он не спал сутки – и ждал.

Задремал. Разбудили. Сказали брать вещи с собой. Провели коридорами под треск раций, вручили паспорт, сказали расписаться. Простились.

Иосиф вышел из тюрьмы на прогретую вечернюю улицу. Неуклюжей походкой каторжника, с которого потехи ради сняли кандалы.

Он медленно шел по улице, думая, что с ним так забавляются. Дошел до киоска, не своим голосом попросил пачку самых дорогих сигарет, неловко достал кошелек, отсчитал. Выпустил первый дымный клубок, закашлялся. И сразу почувствовал все на свете: май, вечер, сво-бо-ду-ду!

Почему его отпустили? Может быть, так легко отпустив его из тюрьмы, спецслужба хотела вызвать у его товарищей подозрение, что он – агент спецслужбы? Ведь пятнадцать человек оставалось в Бутырке. Но это быстрое освобождение вызвало в партии золотую и солнечную радость. Без примесей и теней.

– Ты... ты стал нашим командиром! Ты стал мне старшим братом. Место вождя уступаю тебе!

Ершов крепко расцеловал смуглые запавшие щеки Воронкевича.

Рыжая борода колола пергаментную кожу. Иосиф довольно морщился. Ершов знал цену признаниям. Он долго водил партию по краю обрыва, поднимал на утреннюю молитву, заряжал на бунт. Его сын в числе прочих томился сейчас

в тюрьме. Василий колот бородой и смачно целовал ворона как более умного. Он доверял ему власть...

Тем временем за них взялись. Их решили управить – уничтожить.

Как-то после обеда человек сверху встретился с вожаком молодежного движения «Ниша», придуманного властью, и поручил мочить тех, кто борзеет. Мочить не самим, у представителей «Ниши» должны быть чистые, из беленькой кожи перчатки, сладкие и липкие, как сахарин... Мочить надо было, купив для этого темный элемент, – футбольных болельщиков, разбитых на шайки.

Нападали в сумерках.

Ершову сзади дали по голове. Попинали. Он очнулся, поднялся. Тогда бившие вернулись – это были два силуэта с дубинами. Василий убежал.

Следующим этапом забрали подвал.

Рано утром в железную дверь забарабанили.

– Мы не уйдем...

Они принялись обливать друг друга припасенными бутылочками керосина. И сговорились, чуть ворвется штурм – поджечься.

В бункер начали закачивать газ и дым. Внутри растерялись. Удушье! Слезы! Даже самоубийца боится быть убитым... Паника! Дверь вскрывали автогенном. Дверь рухнула.

Освободители!

Наблюдателям, оттесненным в сторону, предстала такая картина: одного за другим из подвала выволакивали его защитников. Зареванных, кашляющих до писка, счастливых попаданию на воздух. И между всеми, как мокрая курочка-чернушка, был Иосиф. Заходящийся в надсадном аллергическом кудахтанье.

Их швырнули на газон.

К ним подошел молодой мужик в джинсовом костюме. Блондин.

– Все играем? – спросил он воркующим тоном превосходства.

Они поднимались, отряхивались, издавали смутные горловые звуки, с сожалением осматривали свои одежды, испорченные керосином.

Только Воронкевич воспаленно каркнул:

– Иди своей дорогой!

– Ярик... Ярик! – зашушукались в толпе.

Блондин соорудил губы трубочкой. Тихо насвистывая, он пошел к темному «опелю». Потом замер, резко обернулся, и поднявшиеся с газона одновременно вздрогнули.

Так вот он какой! Они поглядывали на расслабленного, невозмутимого блондина и снова чувствовали безысходную горечь от того, что нельзя покарать этого гада за подлые дела. За избиения. За штурм бункера. За эту его издевку. Выследить. Подкараулить. И размашисто вонзить ему в висок

острым углом том какого-нибудь Салтыкова-Щедрина...

Ярик был крепко сбитый, очевидно с хохляцкой кровью, у него торчал клюв.

ТОЖЕ ПТИЦА?

А ведь в этом Ярике кипела ярость той же природы, что и в революционерах. Наверняка кипела ярость.

Черный ворон, оправившись от газа и дыма, вошел в круг друзей и репортеров. Прочистил горло:

– Они отняли бункер. Они убивают нас. Они хотят войны? Они ее получают!

Степа часто задумывался над идеологией НБП. Чего тут хотели? Конечно, они жалели народ. Были народны. Но правильнее всего было назвать их анархистами, мечтавшими о тотальности государства. Диктаторы и маньяки, монстры истории, взаимно грызясь, благословляли их из потустороннего пекла. Или из того чистилища, которое отводят после смерти необычным персонажам. Нацболы желали всемирного дисбаланса, постоянного конфликта, чтобы всегда били шокирующие родники.

Первого сентября Степан пришел на суд над пятнадцатью захватчиками министерства.

Во дворике выделялись родители арестантов, тревожные, будто собрались у школы отдавать детишек в первый класс. Он видел, как ребят выталкивают одного за другим из фур-

гона, быстро проводят в здание. Стоявшие во дворе захлопали в ладоши, но на ветру хлопанье пропало. На суде он наблюдал этих первоклашек, сонливых, смущенных, или высокомерных, или шептавшихся в одной вытянутой клетке с серыми эмалированными прутьями. Менты загораживали отсек, где сидели девочки, и родители суетились, тянули шеи, высоко поднимали брови, пробуя разглядеть хоть краешек дочки.

Директор школы (судья) была разбухшая тетка лет сорока, томная. Завуч (прокурор) был эксцентрик с щеточкой усов, буравивший пустоту острыми глазками. Ребят приговорили. Каждого к пяти годам лагерей.

На улице с прокурором случился приступ. Коверкая слова, клацая челюстями, он закричал на сжавшуюся кучку родителей:

– Коммуняки! Проклятые фашисты! Махновцы вы! Я вас давил и давить буду! Этими вот подошвами!

– Смотри себя не раздави... – бросил ему Ершов, кутаясь в трагическое серое пальто.

Степан смотрел в сторонке и непроизвольно, поджимая губы, хихикал.

Рядом тянул пиво из банки какой-то помутневший, багровый лицом нацбол и напевал-бормотал колыбельную:

– Раздави Давида, Голиаф... Первом делом почта-телеграф...

Прокурор сверкал глазками, скрежетал, сыпал пеной:

– Убивать вас надо!

Его заслонили смурные охранники в синих толстых формах. Одна женщина ринулась к нему, чертами лица сотрясаясь в бездонном плаче:

– Кто же тебя породил?

В этот вечер прокурора застрелили в подъезде.

На щеке у мертвого был грязноватый след от подошвы.

Власть затревожилась. Переживала специальная служба.

Нижний отдел волновался так: партизаны... паразиты...

Значит, сначала оккупировали министерство, надругались над министром. Сегодня пришит прокурор. Завтра без вопросов расправятся с невозмутимым фээсбэшником Ярославом, ходячим оплотом безопасности. А послезавтра?.. Нужны ли России новые бомбисты? Почему их не задушили в колыбели? Да вроде задушили. Отняли подвал. Ладно, а где их вожак? На свободе. Ага. А почему он на свободе? Он уже попадал к нам, не так ли? Не было прямых улик... Ага, мы его отпустили, позволяем этому сорокалетнему психу собирать вокруг себя подростков-отморозков... Гадить нам в России... Выслать его в Латвию!

Средний отдел обдумывал. Выслать? Латвия очень уж недружественна России. Воспримет это как нашу слабость и наш маразм. Надо бы решить вопрос иначе. Он бывает в городе? Постоянно. Ах, завел охрану? А у них там взрослые

есть кроме него? Есть какой-то Ершов с бородой, но этот мягкий, лопушок.

Все завязано на Воронкевиче. Какие будут мнения?  
**НАДО ЕГО ВАЛИТЬ!**

Верхний отдел рассуждал еще ласковее. Нет, нет, завалить было бы *непедагогично*. Получается, нас так легко взять на понт, что мы из могущественного стража готовы превратиться в пошлого киллера? Зачем ползти с пистолетом в кустик ради какого-то прохожего, по сути всего ничего – помогившегося на этот самый кустик? Кончать надо. Но кончать с хитрецей. Без следов. Без улик. Без пальбы веером и скупого контрольного выстрела. Сбить машиной? Колеса кишками пачкать... Удавить? Люстра не оборвется? Отравить? Проблюется. А хотя... Интрижка в духе благородной древности.

Смерть... Как там они скандируют? «Да, смерть!»...

Мы одобряем. Но все должно быть естественно, как во сне. Смерть должна быть невинной, как если бы помер спящий.

Отравить? Тут скрыт некий прикол. Не цианидом, не мышьяком, не водкой «Путинка», но как-нибудь с другого боку.

Иосифу надо было ехать на митинг.

Он покинул квартиру в сопровождении трех мальчишек-охранников. Вышли на улицу.

– Гав-гав-гав, – заливалась белая длинная собака, – гав! –

Она капризно рвалась с поводка.

– Альма! Заткнись! Мать твою! – кричала девушка.

Охранники напряглись.

Иосиф неожиданно ощутил приятную легкость, как будто оторвался от земли:

– Привет!

– Здорово во! А ты здесь откуда? – Девушка облизнулась на этом «ты».

– Живу...

– Ого! Я тоже!

Эта девка была на съезде НБП, репортер интернет-сайта «Скандалы». Как ее зовут? Богатырка, она маячила у него перед носом весь съезд. Манила его и пугала. Он вспоминал ее после и клял себя за робость. Сорокалетний мужик, бывший порнограф. Откуда в нем стыдная робость? Он думал: еще раз встречу – обязательно добыюсь! Встретил. Смотрел нежно, как бы в полете. Что-то в ней за это время поменялось, сделав проще. Она стала легче, сбросила вес, да и физиономия ее была уже не такой щекастой... Но глаза... По глазам он ее и вспомнил. Глаза были прежние. Синие, круглые. Горячие на похудевшем лице.

Собака истошно лаяла, девушка бранилась с собакой, едва удерживая поводок.

– Хочешь кофе? – предложил он.

– Давай. А у тебя какой?

– Обычный.

– Лучше я тебя угощу. У меня молотый! Поможешь пса загнать? Ты хоть помнишь, как меня зовут? Ирина! Поможешь?

– Да-да... Я никуда не еду, – бросил он оторопевшим мальчишкам. – Чего-то хреново себя чувствую. Езжайте на митинг. Объясните... приболел... Кофе, может, взбодрит. У него давно не было женщины.

Теперь, когда высоченная деваха второй раз перешла ему дорогу, Иосиф ощутил густое химическое тинейджерское вожделение. Наверное, потому, что переобщался с нацболами-сорванцами и набрался у них всякой глупости... Ух! Эх! Класс! Броситься на нее сегодняшним утром, опрокинуть ее, длинную, на дорогу жизни. Башку – в мураву, ступни – в крапиву. И вытряхивать из этой дылды все ее тайны!

Ира сказала, что недавно сюда переехала. Она сняла в этом подъезде квартиру, тремя этажами выше. Сели у нее. Кофеек. Белые чашки. Собака иступленно выла и царапалась, запертая на балконе.

– И чего же вы все-таки добиваетесь?

– Цель – ничто, движение – все, – вдруг честно сказал Иосиф, и голос его ломко дрогнул.

Ира начала говорить свою правду:

– А я так хотела с тобой познакомиться... Даже сочиняла всякое! Кому-то говорила, что у нас с тобой... история... Надо же, вышла с собакой, она погуляла, идем в подъезд, а тут ты... из подъезда! Это случай!

– Не случай, – сказал Иосиф ласково.

– Судьба? – И тут в ее глазах мелькнула ледяная злоба.

Такой силы злоба, что этот странный взгляд он стремительно залепил поцелуем.

– Ты сладкая, – выдохнул, отвалившись и, по законам жанра, потянулся за сигаретой. – Я тебе понравился?

Ира ответила что-то. Тоже закурила. Он что-то сказал. Потом она. Их роман завязывался, вился табачный дымок...

Полгода тому назад она подцепила ВИЧ от случайного нацбола. Теперь она мстила. Ей и денег за это отвалили в спецслужбе. Подселили именно в этот подъезд. Чтобы удалась смерть ворона.

С деньгами навстречу смерти, убивая естеством своим...  
Страшная девка.

Газ-нефть! Газ-нефть! Газ Освенцима и вязкая нефть небытия...

«Прочь от них, прочь», – говорил себе Степан Неверов.

# Пингвин дома

Отец Степана Анатолий Валентинович был мужик с толстым добрым лицом в трогательных прожилках. У него трясся подбородок. Раньше он работал в книжном издательстве – на политехнической должности: сверял достоверность фактов, изобличал нелепицу, нарушения логики. Он был страж реальности и остался стражем. Мама, Зоя Федоровна, была изящная, чуткая, маленькая, с выразительными, всегда ждущими чуда глазами, замудоханная жизнью. Она работала в «Союзмультфильме», кропотливо прорисовывала черточки Жар-птицы или Черной Курицы. В этом ее занятии, вроде бы посвященном детям, был какой-то ужасный канцеляризм, жертвенная обреченность на бессмыслицу. Она брала работу на дом, и маленький Степа видел, как нелегко и нудно за часом час, штришок за штришком рождается сказка, которая в бешеном оголтелом темпе промчится в телевизоре. Но он все равно любил мультики и, когда их смотрел, ловил себя на нездоровом, неприличном интересе. Как будто он предавал маму, хотя она ему с удовольствием их включала. Потому что он знал, откуда берутся эти мультики. И все равно смотрел, увлекаясь. Он пробовал испытывать гордость за маму, глядя в экран, но эта умственная зацепка мешала отдаваться восторгу, и он забывал и маму, и гордость, и окунался с головой в перья Курицы...

Мама родила Степу поздно, в тридцать девять, с отцом они были погодки, нынче – пенсионеры.

На деле они дали ему свободу, баловали, никогда особо не вникали в его жизнь. На словах изображали строгих наставников.

В социологи он пошел почти случайно. Старая его тетка преподавала на соцфаке. Когда он поступал, она его готовила. Лето было раскаленное, город-сковорода, через месяц после экзаменов тетя умерла от сердца.

Степан избегал бесед с родителями. Но они любили с ним поговорить, постращать бедами, повыпытывать о том, как он живет и чем увлечен, не вдаваясь в суть, а так, просто так, для самоублажения.

ОТЕЦ: Чего ты все увиливаешь? Поговорил бы с родней.

СЫН: Я не увиливаю.

МАТЬ: Правда, Степ. Расскажи, на работе ребята хорошие?

СЫН: Да ничего так. Я же на месте не сижу.

ОТЕЦ: Ноги кормят... Только куда ты все бегаешь, я так в толк и не возьму.

МАТЬ: Степа, ты смотри, как бы тебя не подставили.

СЫН: Кто?

МАТЬ: Я у тебя нашла газету и листовки. Читать страшно. Вроде многое правильно написано. Но язык какой грубый! Взрослому человеку такое читать стыдно...

ОТЕЦ: Это которые? Которые яйцами кидаются?

МАТЬ: Ну да, еще министерство недавно захватили... Помнишь, по радио говорили.

ОТЕЦ: Да. Отчаянные ребята. Вроде за народ. Только не тот это метод. Мальчишки жизни свои калечат.

МАТЬ: Толь, ты просто не читал, что у них там понаписано. Вперед! К топору! Страшно читать эти кошмары.

ОТЕЦ: Степан, чего ты с ними водишься? Приключения себе ищешь на одно место? Дадут по кумполу – будешь знать.

СЫН: Ну, я не с ними...

ОТЕЦ: А чего тогда?

СЫН: Надо. Работа такая. Интересно мне. Я с разными вожусь. У меня семь организаций.

МАТЬ: И со всеми ты водишься?

СЫН: Да.

МАТЬ: Когда ты только время находишь? А они хоть знают, что ты с ними со всеми сразу? Или в каждой думают, что ты только с ней?

СЫН: Не знают.

ОТЕЦ: Ты дружишь со всеми или чего?

СЫН: Дружу. Бывает.

ОТЕЦ: И чего ты потом с этим делаешь?

СЫН: Пишу про это. У нас социологическая фирма. Ежемесячный обзор молодежных движений. Я составитель.

ОТЕЦ: Это мы знаем. Но не понимаем. Степ, я вот слышал, сейчас молодежь только за деньги что-то делает. Вот я верил, молодым был – хотел добровольцем на Кубу ехать,

когда этот... Карибский кризис.

СЫН: И сейчас верят. Кто в оппозиции – верят. Кто за власть – верят меньше, но тоже интересные.

ОТЕЦ: Во что верить-то сейчас? В бабло?

СЫН: Каждый в свое. В борьбу.

ОТЕЦ: В борьбу... Борьба – это дело опасное. Особенно пока молодой. Молодой как пьяный – море по колено...

СЫН: Ну, я-то спокойный.

ОТЕЦ: Ни во что не веришь, что ли?

СЫН: Типа того.

МАТЬ: Как же это, Степушка? Это тоже неправильно. Человеку обязательно надо во что-нибудь верить. Я в любовь верила. А если верить не будешь – загнешься быстро, и семьи у тебя не будет, если в любовь не веришь.

ОТЕЦ: Но жениться надо по уму.

МАТЬ: Самый верный брак – по уму. А верить надо. В Бога вот наш папа не верит, и ты туда же, хоть бы в церковь зашел, свечку поставил. Раньше с тобой маленьким кулички святить ходили, ты так радовался. И школьником в церковь ходил. А теперь – неверующий, так получается?

СЫН: Такой я урод. Но все равно мне, пап, мам, интересно только с такими, кто верит. Это, наверно, потому, что они мне силу дают. И я им подыгрываю, я не могу понять, как себя с ними вести, мне смешно и грустно, что они такие верующие. И я им говорю: «Да, да, вера – это правильно!» Но меня тянет к ним. Знаете, так урод делается фотографом, все вре-

мя бегают на показы моделей и их ноги длинные шелкают...

ОТЕЦ: Нельзя так говорить про себя. Какой из тебя урод? Урод – это подлец. Чикатило – это урод. Олигархи – уроды. Ты же никого не убил, кровь из людей не сосешь...

СЫН: Откуда ты знаешь?

ОТЕЦ: Ой, послушай, Зоя, что несет... Во дурак!

МАТЬ: Степка, когда же ты у нас подрастешь?

СЫН: Почему не Чикатило? Почему не олигарх? Вы извините, но я бы ввел в Уголовный кодекс статью за, я такое слово вам скажу – мыслепреступление. Если готов делать то, что злом называют, значит, уже виноват.

ОТЕЦ: Ты это девочкам плети... Как ты мысль мою узнаешь, чудака-человек?

МАТЬ: Не слушай его, Толя. Набрался всякой чуши...

ОТЕЦ: погоди, Зоя.

СЫН: А пускай человек сам исповедуется, и не в церкви, а государству. Подумал украсть. Мечтаю пришить. И наказания соответственные – месяц тюрьмы, два месяца.

ОТЕЦ: Может, тебе к врачу сходить?

МАТЬ: Да он издевается, не видишь разве?..

ОТЕЦ: Над кем? Над самим собой? Мелет, мелет... Никому не верю, а интересно. Философ из трех букв. Был такой в Китае. Я его в анталогии вычитывал.

СЫН: А помнишь, мама, ты мультики рисовала. Я с детства знал, как это так делается, что в телевизоре Волк за Зайцем гонится. Не верил, а смотрел с большим интересом.

С тем же интересом, как остальные дети, которые не знают, откуда мультики берутся. Политика, борьба – это полная лажа. Игра это. Но интересно. Не сама игра интересна. А игроки вот эти прорисованные. Они верят, когда скажут, они не знают, что их нарисовали... Но может, это я рисованный, а они – живые?

ОТЕЦ: Заливаешь ты чего-то, сынок. Смотри мозги не выверни.

МАТЬ: Степа, ты бы отдохнул. Вон Егор соседский, каждую зиму в Турцию ездит. А ты все в Москве торчишь.

СЫН: Мне от Москвы никуда не деться. Вся политика в одной Москве. Все мои подопечные – тут.

ОТЕЦ: Турцию предложила... Для этого деньги нужны.

МАТЬ: Да накопить он мог бы.

ОТЕЦ: Родителям-то помочь – не дорос пока?

СЫН: Мало, мало денег.

МАТЬ: Устроился бы на нормальную работу. Сидел бы в офисе, дурака валял. У моей подруги Милы Сашка... Оклад две с половиной. В десять на работе, в девять вечера – уже дома. И не парится, никуда не лезет. Говорит ей: мать, сижу карты в компьютере раскладываю. Редко, когда у него командировка. А ты чего? У меня она спрашивает: кем твой Степа работает? Я и не знаю, чего ей отвечать.

СЫН: Не переживай.

ОТЕЦ: Мы же за тебя, балбеса, переживаем. Чтобы у тебя все наладилось.

СЫН: Да у меня и так...

ОТЕЦ: «Так», – сказал бедняк. Вон какое брюхо отрастил! Под рубашкой торчит. Щеки как у жиртреста. Я в твои годы крест держал на кольцах. Понимаешь? Весь был мышца одна, когда с твоей мамкой познакомились. А ты?

МАТЬ: Ну хватит, Толь, совсем застращали мальчика. Зато сейчас и ты какой толстый... Это у него конституция. Он уже в роддоме самым пухлым был. И лет ему всегда больше давали, в два года на четыре выглядел. Крупный ребенок.

ОТЕЦ: Ребенок... Мужик. Надо в форме себя держать в его годы! А он... Верю, не верю... Где работаю – не скажу...

СЫН: В фирме.

ОТЕЦ: Жениться не надумал?

МАТЬ: Куда ему...

ОТЕЦ: Смотри, Зоя, перед фактом поставит. Приведет какую-нибудь и заявит: все, родители дорогие, давайте к свадьбе собираться.

МАТЬ: Степа не такой. Степа не горячий. Он сказать может всякое, а глупость он не выкинет...

ОТЕЦ: Хоть что-то в нем воспитали.

# Голубой попугай

Степан хихикал над либералами, так бывает. Вот и стихи сочинял такие:

Пролетая Древней Русью, За врагами бред любой  
Повторял бы этот Мусин, Попугайчик голубой. По-татарски таратора,  
Мел бы снег его язык, До Орды тропинку торя –  
Лишь бы выпросить ярлык... Либералы, либералки – Их  
роднит стрелы напев, Что дрожит у речки Калки, В сердце  
русское влетев.

Молодых либералов вел Илья Мусин. При хилой комплекции у Мусина были возбужденные маленькие и веселые глазки, а также клювик. На головке воинственно топорщился хохолок.

Мусин одевался в голубой джинсовый костюм, под которым голубела голубая рубашка. Любил он джинсу, демонстрируя свой демократизм, мол, я такая умная шпана, гуманитарий-шалопай. Не сказать, чтобы наряжался Илья небрежно, джинсовый костюм сидел на нем ладно, да и был отменно чист и благоухал дезодорантом, но в классическом костюме он никогда бы не показался. Он сторонился образа номенклатурщика. Мусин выглядел как позитивный вожак студенческой шпаны с тем намеком, что – молодо-зелено, он такой весь из себя неформал, но в допустимых границах.

Он не пил и не курил. Хилая комплекция, кокетливая бо-

родка. Писклявый голосок с диапазоном интонаций наглеца, подлизы, труса, рассудительного мальчика.

На публике Мусин постоянно был с одной блондинкой и каждый раз как бы с ней позировал. Ее звали Маша. Она была худа, просто скелет, часто курила и воспаленно краснела. Голубые глаза у нее были бессонные, с красными прожилками. Злая, стервозная, бесцеремонная, всем грубила. Тип корабельного юнги. Приятная своими натурально золотыми косицами, но щеки втянуты, глаза впали, скулы торчат.

Крохотный Мусин заявлял цель – «освободить страну от режима реакции» и «вернуть украденные свободы».

Начиная со школы он пытался участвовать в политике. И к двадцати трем годам встал во главе молодежного либерального фронта. Фронт объединял человек тридцать, но каких!

Участников фронта отличала миниатюрность. Как будто, едва родившись, они сразу же интуитивно начали равняться на будущего вождя и всеми силенками замедляли свой рост. Это факт: молодые либералы были компактных размеров. Что не отменяло их агрессии. Они были словно выводок рассерженных попугаев! Попугаи с готовностью принимались выкрикивать гневные кричалки. Порой на акциях они доставали ненавистный им портрет президента. И набрасывались на этот портрет с тем живейшим остервенением, с каким попугаи расклевают булку. Они чуть ли не дрались между собой за то, кто клюнет мощнее. От портрета через минуту

оставались жалкие клочки, а через две минуты не оставалось ничего.

Еще в мусинском фронте была Ляля Голикова.

Темная, пухлая, чуть выше Мусина, вровень со Степаном. Лялин папа в бытность премьер-министром взвинтил цены, обесценил вклады, его ненавидел народ.

Симпатичная, с пикантной ямочкой на щеке, ароматная девушка.

Степан начал за Лялей ухаживать.

Неверова привлекала диковинность ее репутации. Дочь премьера, которого большинство страны считало людоедом. Это же почти дочь Бокассо (диктатор-каннибал). Но и вид у нее был классный. Влажные мягкие карие глаза! Губки! Гримаски! Брови, четкие, словно начерченные углем! А эти груди сквозь пропагандистскую майку! Два полушария с эксцентрично-вздернутыми сосками... Степан стал ходить на собрания к либералам и на их акции. Пухлый и темный, он смотрелся рядом с Лялей как брат.

– Нам постоянно внушают, что парламент не место для дискуссий, – раздраженным электрическим тоном говорил Мусин на собрании. – Значит, у нас нет парламента.

Голубой попугай толкал речи каждую среду. Минут по пятнадцать. Собрания проходили в офисе с флагами на стенах. Флаги были пестрые, овейные дубинками, из Югославии, с Украины.

Илья сказал, что через два часа улетает в Минск на демонстрацию. Прощально потряс всем руки. Тем временем его подруга блондинка Маша дерзила огромной космато-седой правозащитнице, заскочившей на огонек:

– Инна Борисовна, постричься не хотим? Я ведь курсы на парикмахершу кончала.

Степан подошел к Мусину:

– Рад был тебя услышать. Ты хорошо выступаешь, хоть сейчас в газете печатай. Я буду к вам теперь ходить. Да, либералов мало, но главное – не количество, а качество, главное – сознательность. И вера! – добавил Неверов. – Спасибо тебе, знаешь за что? А за то, что вера, вера пробуждается! Я вот верю, что не век нам лаптем кашу пресную хлебать. Мы – Европа, а при желании мы Европу перегоним!

Это сказав, Степан пожал ладошку Мусина, оказавшуюся влажной ледышкой, и переместился к Ляле.

Он обнял ее и вывел на воздух.

– Идем!

Он вел ее по Тверскому бульвару среди деревьев. Мимо скамеек с пивной молодежью. Половина восьмого, но темень мешкала, а небо по-теплому сияло.

На одной из скамеек Степа заприметил усохшую копию Воронкевича и тут же с ужасом понял, что это и есть Иосиф. О болезни ворона слух разошелся быстро – и теперь беглого взгляда хватило, чтобы понять: слух вещей. Иосиф сидел в глубокой задумчивости, один на один с собой, и даже

скамья его, музейного экспоната революции, была одинока, не в пример другим скамейкам. Больного чурались... Желтый нос его странно загибался с хрящевой каплей на кончике, а костяное сжавшееся личико было даже не желтым, а зеленоватым.

– Восемь вечера, а солнце жарит, – напевно сказал Степан Ляле, быстро проводя мимо страшной скамьи, и обнял ее крепче, и на ходу они срослись в один приветливый жизнерадостный колобок.

– Не жми так! – Девочка игриво вильнула плечом, толкнулась бочком о его бочок и скосила пушистый глаз.

– Как? – спросил Степан. – Так? – Он рванул Лялю влево, к деревьям, сбил с тропы, прижал к корявому стволу тополя, обметанному цепким пухом.

И потянул ее на себя, сжав за виски.

Тотчас стало смеркаться.

Степан шарил по Лялиной груди, проникнув под майку и плотный бюстгальтер. Он целовал ее в губы, а потом начал подкручивать сосок, резко, грубо, так неистово, будто мстил ее папе за обобранный народ... Или мстил всему живому, плоти живой за тот кошмар, в который плоть превращается... Воронкевич отпечатался в глубине Степиных глаз.

Она не сопротивлялась, принимала жестокие пальцы. Он полез ей в черные брюки, не расстегивая их, по тряскому животу скользнул пятерней под тугой ремень. Попал в курчавую мякоть зарослей, ремень неудобно зажимал руку.

Сгустилась тьма, горели огни, пьяно ржала и звенела бутылками Москва. В этом пьяном хохоте, и в диких выкриках, и в протяжном гудении пробки с двух сторон бульвара потонул Лялин стон.

Стон, который она выдала Степе рот в рот. И даже рот ее выстрелил – приливом ароматной девичьей жвачной слюны...

Они посидели в кафе. Выпили по чайнику китайского чая.

Завтра в Минске демонстрацию разогнали. Задержали и Илью, и Машу. Их разлучили. Обстановка в КПЗ требовала аскетизма и внутреннего подвига. Редкий выгул в туалет, негде подмыться, холод.

Вернулись они через три дня в московскую полночь. Вокзал встретил их радостным гиком и литаврами оркестра, заказанного старшими покровителями.

Между тем целую неделю Степан не видел Ляли. Они обменивались эсэмэсками. Договорились встретиться опять на собрании.

Степа пришел в офис и сел на лавку. Мусин весь лучился, мужественный забияка. Блондинка стояла в углу, непрерывно куря и осыпаясь приглушенной руганью, и вспоминала обидевший ее Минск. В том углу вровень с Машей пристроилась косматая правозащитница и заботливо гладила жертву репрессий по затылку, подергивая ей золотые косицы.

Мусин играл бодрячка, он воспроизвел частушку, наца-

рапанную гвоздем на стене камеры:

Лукашенко – в жопу, Беларусь в Европу!

Маша из угла зашипела:

– Меня до сих пор плющит!

Ляли на собрании Степан не нашел, хотя крутил головой и оборачивался на скрип дверей и шорох запоздалых активистов.

Он поднялся из офиса, где телефон не ловил, и набрал номер. Длинные гудки. Он брел, разочарованный. Погода была так чудесна, вечер был таким насквозь небесным, что Степе вдруг захотелось уравновесить чистое ощущение блага какой-нибудь темной липкой пакостью – закурить папироску, купить баночку водки с соком, а затем и вовсе ужраться. Но он только глубоко зевнул.

Телефон зазвонил.

– Степан? Ты слышишь? Прости, что не пришла. Мне надо с тобой поговорить. Прямо сейчас! Степан! Ты свободен?

Встретились через полчаса в арбатском переулке в тусклом и метафизически случайном баре под названием «На лестнице».

Перед Лялей стоял стакан с двойным виски. В отдельной вазочке тало плыли куски льда. Неверов подсел, и она заговорила...

– У меня тяжелая проблема, – начала она. – Мне двадцать, но я ни с кем не сплю. У меня был парень, дипломат. Он стажировался в Лондоне. Долго за мной ухаживал; он водил ме-

ня в рестораны, дарил цветы, провожал до лифта. Мы встречались почти каждый день. Он ждал... И... Трудно об этом, но я скажу... Однажды мы остались вдвоем, совсем-совсем вдвоем. Без никого. Но когда дошло до главного, я исцарапала ему шею и убежала! Этот парень пропал из моей жизни. Он уехал работать в Европу. Я долго думала о наших отношениях, Степан, и поняла, что у нас ничего не выйдет! Я решила тебя забыть. Сегодня я сидела дома и грызла ногти. Вот, взгляни, один ноготь короче другого, это я отгрызла. Я их грызла, слушала, как звонит телефон, и смотрела, как определяется твой номер. Наконец я не выдержала и перезвонила! Это проблема для меня, но лучше будет объяснить все...

И она рассказала ему историю.

Все случилось осенью 93-го года.

Ельцин только что разогнал Верховный Совет, и сторонники ВС хотели Ельцина скинуть. Отряд под предводительством худого и желтого офицера, похожего на йодистый палец курильщика, приехал к штабу СНГ. Загремели выстрелы, в упор был застрелен караульный, шальная пуля прошила глянувшую в окно пенсионерку вместе с кружевной занавеской. Тогда же другой военный, генерал в берете, носатый, с мохнатыми усищами, нагрянул на сталинскую дачу в районе Кунцева, где якобы находился узел командной связи. Отпер заспанный сторож. Сталинская дача оказалась пыльной,

внутри был подпольный цех по производству ликеров. Отрывисто костеря весь мир, генерал умчал с носом...

Но мало кому известна еще одна вылазка – попытка арестовать на дому премьер-министра. За это взялось движение «Трудовик».

Сиреневый микроавтобус влетел в арку дома на Котельнической набережной и с визгом затормозил. Из автобуса посыпались мужчины в одинаковых шахтерских касках, с красными повязками на рукавах и стальными прутьями.

Их предводитель, усталый и морщинистый, запрокинул голову, придерживая каску. Шатнулся, залюбовавшись на высокий дворец элитного дома.

– Во Сталин как строил! А кому все досталось? Кровососам, бляха-муха!

Он харкнул и упрямо растер.

Консьержка и идейная наводчица, старая подписчица газеты «Советская Россия», будто бы отлучилась в туалет. Дружинники беспрепятственно поднялись на нужный этаж.

Премьера дома не было. Его жена, Лялина мама, в это время была на работе, в банке. Сама Ляля, двенадцатилетняя веселая пышка, отсидела последний урок в школе и, закинув рюкзак на плечи, вышла на улицу. Она направилась домой.

– Ломай! – зычно приказал вожак.

Однако железную дверь, манерно обитую под кокос, было совсем непросто поддеть, выдавить, или разломать.

Ляля остановилась у голубой палатки. Купила шоколад-

ное эскимо. Подпрыгивая, пачкаясь студеным шоколадом, вбежала в тенистый двор. Консьержка неодобрительно глянула на нее и закрылась газетой. «ЗРЕЮТ ГРОЗДЬЯ ГНЕВА» – чернело на бумажном щите.

Лифт распахнулся.

– Опаньки! – проговорил один из дружинников.

– Вам куды, барышня? – спросил другой.

– Мне – домой! – нагло заявила Ляля, морщась сквозь последний, непроглатываемый кусок мороженого.

– Это теперь народная собственность. Не слыхала, что ль? – зловеще хмыкнул вожак, поворачиваясь к девочке. Его примеру последовала и вся дружина. – Давай сюда ключики! Живо!

Они были в гостях больше часа.

Сначала гости вели себя как воспитатели и просветители.

– Посиди, дочка. – Вожак сдвинул стулья и поместил девочку лицом к себе. – Ты хоть понимаешь, что твой папа буржуй? Когда папка будет?

Наглость Ляли как ветром сдуло. Перед ней близко-близко было морщинистое усталое лицо с нервным тиком, страшно застилавшим васильковый глаз.

– Испачкалась! – хулигански сказал рабочий помоложе и пятерней провел Ляле по губам.

Она не сопротивлялась.

– Что это у тебя? – улыбнулся редкими зубами вожак. – Кровь христианских младенцев?

– Мороженое, – выдавила Ляля.

– Мороженая кровь христианских младенцев! – крикнул из туалета другой рабочий, шумно опорожня мочевой пузырь.

– Ты это... девочка-то послушная? – с нарастающей мягкостью в голосе спросил вожак.

– Угу, – энергично кивнула Ляля и захлопала глазами.

– Не. Слезки нам ни к чему! Совсем ни к чему! Ты ведь взрослая девочка! Или в куклы еще играешь? Ну и где папка твой? Ты не ответила! Честно отвечай, иначе придется тебя наказать...

– Я... Я не знаю. Он в правительстве.

– Не ври. Папа врун. Сколько народу обманул! И ты, значит, врушка! Где мой ремень? А ну ложись на койку! Подержи ее, Ром!

– А-а!

– Что кричишь? У, какая попа. Белая. Небось папка ни разу не порол. А как русских детишек он бьет, не слыхала? Как он моего Вальку будущего лишил...

– А-а-а!

– Страшно?

– Страшно!

– Проси прощения у детей! Скажи: прости меня, народ! Народ, прости меня! Давай, говори!

– Народ! Прости... Прости меня!

– На колени становись. К стеночке. Давай, лбом в стеноч-

ку. Прощения на коленях просят. Или тебя не учили этому? Эх ты, нехристь!

– Андреич, может хрен с ней? – спросил кто-то.

– С ней-то?

– Дочь за отца не в ответе... Попужали и будет.

– Так оставим? – задумчиво спросил вожак.

– Оставим. А то безнравственно получается.

– Ильич помнишь, что писал? «Нравственно все, что служит интересам пролетария». Есть у нас к ней интерес, братцы? Мала еще для интереса? То-то. Слышь, неродная, – вожак наклонился над девочкой, замершей на тахте головой в угол, и грубо натянул ее юбочку. – Стой и молись: «Народ, прости меня! Народ, прости меня!». Ясно? И чтобы в голос. Пока папка не вернется. Или мамка. А мы далеко не уйдем, так и знай. Коли замолчишь, мы снова прискачем, но уже на волке сером...

Молодой голос цветасто заматерился.

Ляля заморожено повторила.

– Фу! Ты чего бранишься? – Обидчиво спросил вожак. –

Рома – взрослый, ему можно, да и работа у него вредная, он так расслабляется, а ты еще – девочка, сытая и мытая. Ты не это повторяй, а другое. «Народ, прости меня!». Ясно тебе?

– Народ... Народ, прости!

Ляля отпила виски и уставилась на Степана близко посаженными сырыми глазами.

– А при чем тут секс? – спросил Степа. – Ведь ничего не было?

– Не было. А потрясение?! Детский шок? – Выдавила она. – Это было ментальное изнасилование!

Он молчал, участливо наклонив голову.

И вдруг дернулся.

– Что будете? – официантка коснулась его плеча.

Он замялся, и тут испуг начал перерастать во что-то иное...

– Ничего, спасибо, – ответил Степан. – Ничего пока... – между тем как желание уже захлестывало его.

Ощущая только пляску, бешеную пляску в кишках и аортах, и, приплясывая зубами, он длинно ухмыльнулся и захихикал:

– Так и будешь – целка!

Вскочил и с грохотом откинул стул. Побежал по ступенькам к выходу. Выпал на волю.

Он шагал по черной улице. Свобода была везде. В шорохах травы газонов. В мандариновом блеске огней. В жажде, которая при быстрой ходьбе стесняла горло. Слава тебе, городская свобода! Размазать жертву до грязи, а грязь до пыли, а пыль стереть щеткой с остроносого ботинка...

– Зачем ты обидел Лялю? – требовательно спросил Мусин.

– Чем я ее обидел?

– Не знаю и знать не хочу. Но она отказывается ходить к нам на собрания, пока ходишь ты. Послушай, старик, у тебя есть неделя: либо – мири тесь, либо извини... Ляля нам важнее тебя. Андерстенд?

И голубой попугай серьезно глянул на Степана смышленным глазком.

Степан, ухмыльнувшись, отошел. Впрочем, и Ляля отдалась от либералов.

Они оба отошли от них, кто куда, пухлые, темные, похожие на сестру и брата.

Дальше жизнь либералов Степа наблюдал уже со стороны.

Мусин много путешествовал.

Например, он прилетел в Брюссель. Его приняли в штабквартире НАТО, милитаристском блестящем сооружении, утопающем в загородных лугах и рощах. Чирикали пташки. Воздух был сладок. По всему периметру территорию НАТО опутывала колючка. В стеклянном пуленепробиваемом стакане Илюша сдал мобильник камуфлированному негру с холодным, презрительным очертанием губ.

Он полдничал в гулкой натовской столовой, где все занимались самообслуживанием. Выбрал фруктовый салат, замещающий алкоголь. Хрустел семечками киви и клубники, вертелся, хмыкал, подмигивал каким-то военным за соседними столиками, диатезно покрасневшийся.

Он был в горах, на диком западе Украины. Вершина горы представляла собой прямоугольную площадку. Посередине высился двухметровый деревянный крест, обвязанный черными, красными, желтыми и голубыми лентами.

Белый вертолет спикировал у склона последней вершины. Илья поскакал навстречу. Президент Украины двигался вверх, опираясь на палку, стремительный и грубый, как паромщик, который с багром идет против течения. Лицо президента было щербатым, пот едко посверкивал в щербинах. Вокруг – дети, флаги, цветы...

– Привет вам из Москвы! – набравшись духу, выкрикнул Мусин.

Президент остановился и протянул тяжелую лапу. Угромо-ласково просипел:

– Надо это отметить!

Подоспели пластиковые стаканчики, забулькала горилка. Илья затравленно озирался. Он не знал, что делать. Он же не пьет!

– Москаль – тоже людина, – громыхнул кто-то.

Илья быстро чокнулся, поднес стаканчик к губам, наклонил, притворяясь, что отпивает. И выскочил из процессии. Президент двигался дальше и выше. Мусин выплеснул. Под ногой метнулась обожженная ящерица. Он поднял камень, схоронил стакан, и накрыл камнем. Раздался звук пластмассового поцелуя.

Он поехал в город Краснокаменск, неподалеку от границы с Монголией, прихватив с собой пяток мальчишек-активистов, блондинку Машу и чемодан, набитый театральным инвентарем.

Зябко и сухо. Пригород. Бескрайняя степь. Длиннющие, уводящие глубоко под степь урановые рудники. Здесь находилась зона. Облучаемая урановой радиацией и продуваемая песочным ветром. В зоне работал на швейной машинке бывший олигарх. Его посадили за то, что он сунулся в политику, подкидывал деньги оппозиции. Теперь он работал на машинке, благообразный мужчина с той горькой интонацией лица, в которой было так много иронии над собой и над судьбой голубого шарика, обреченного однажды замерзнуть и лишиться жизни. Он работал, опустив серые веки. Лишь иногда вскидывался, раздосадованный тем, что швейную машинку опять заело, и глаза его наполнялись жестоким звездным огнем.

Каменный забор. Железные ворота. Деревянные вышки. Изнутри лагеря тек дым, переваливал за стену и уплывал к степям. Запах костра. Неужели жгут бывшего олигарха и они опоздали?

Маша в сто первый раз посмотрелась в зеркальце, проводя пудреной подушечкой поверх прыщиков и песчинок, и хлопнула косметичку.

Щелкнул чемодан.

Из чемодана проворные руки похватали черные фураж-

ки, черные ватники с белыми номерами на спинах, спортивные штаны. Взамен в чемодан полетели обычные гражданские тряпки.

Маша схватила бумажную трубу плаката и распахнула у себя на груди:

– МЫ ТОЖЕ ЗЭКИ!

Илья приложил к губам мегафон и заскандировал.

Его лозунги подхватили голоса.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.